

Владимир НАБОКОВ

2



Имелом задетым

Владимир
НАБОКОВ

Ангели заветы

ВЫПУСК 2



ББК 84Р1—5
Н13

Составление и вступительная статья
Я. С. МАРКОВИЧА

Набоков В. В.

Н13 **Ангелом задетый: Стихи. Вып. 2/Сост. и вступ.
статья Я. С. Марковича.— М.: СП «Вся Москва»,
1990.—78 с.**

Сборник составлен из числа стихотворений, отобранных самим В. Набоковым.

ISBN 5-7110-0052-7

ББК 84Р1—5

© Владимир Набоков. Сост., вступ. ст.
и оформление СП «Вся Москва»

ВСТРЕЧА

И странной близостью закованный...

А. Блок

Тоска, и тайна, и услада...
Как бы из зыбкой черноты
медлительного маскарада
на смутный мост явилась ты.

И ночь текла, иплыли молча
в ее атласные струи
той черной маски профиль волчий
и губы нежные твои.

И под каштаны, вдоль канала,
прошла ты, искоса маня;
и что душа в тебе узнала,
чем волновала ты меня?

Иль в нежности твоей минутной,
в минутном повороте плеч
переживал я очерк смутный
других.— неповторимых — встреч?

И романтическая жалость
тебя, быть может, привела
понять, какая задрожала
стихи пронзившая стрела?

Я ничего не знаю. Странно
трепетет стих, и в нем — стрела...
Быть может необманной, жданной
ты, безымянная, была?

Но недоплаканная горесть
наш замутила звездный час.
Вернулась в ночь двойная прорезь
твоих — непросиявших — глаз...

Надолго ли? Навек? Далече
брожу и вслушиваюсь я
в движенье звезд над нашей встречей...
И если ты — судьба моя...

Тоска, и тайна, и услада,
и словно дальняя мольба...
Еще душе скитаться надо.
Но если ты — моя судьба...

1923

ПЕСНЯ

Верь: вернутся на родину все,
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга
ночная фелюга.

Песня спасет нас.

Проулками в гору
шел я, в тяжелую шел темноту,
чуждый всему, и крутому узору
черных платанов, и дальнему спору
волн, и кабацким шарманкам в порту.

Ветер прошел по листьям искривленным,
ветер, мой пьяный и горестный брат,
и вдруг затих под окном озаренным:
ночь, ночь — и янтарный квадрат.

Кто-то была та, чей голос горящий
русскою песней гремел за окном?
В сумраке видел я отблеск горящий,
слушал ее под поющим окном.

Как распевала она! Проплывало
сердце ее в лучезарных струях,
как тосковала,

как распевала,
молясь былому в чужих краях,
о полнолуние небывалом,
о небывалых соловьях.

И в темноте пылали звуки,
— рыдающая даль любви,
даль — и цыганские разлуки,
ночь, ночь — и в роще соловьи.

Но проносился ветер с моря
дыханьем соли и вина,
и гармонического горя

спадала жаркая волна.
Касался грубо ветер с моря
глициний вдоль ее окна,
и вновь, как бы в блаженстве горя,
пылала звуками она...

О чем? О лепестке завялом,
о горестной своей красе,
о полнолунье небывалом,
о небывалом —

ветер! Вернутся на родину все,
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга ночная фелюга...

Все.

1923

ПРОВАНС

1

Как жадно затая дыханье,
склоня колена и плеча,
напысь я хладного сверканья
из придорожного ключа.

И, запыленный и счастливый,
лениво развяжу в тени
евангелической оливы
сандалий узкие ремни.

Под той оливой, при дороге,
бродячей радуясь судьбе,
без удивленья, без тревоги,
быть может, вспомню о тебе.

И пеньем дум моих влекома,
в лазури лиловой дня,
в знакомом платье незнакома,
пройдешь ты, не узнав меня.

2

Слоняюсь переулками без цели,
прислушиваюсь к древним временам:
при Цезаре цикады те же пели,
и то же солнце стлалось по стенам.

Поет платан, и ствол в пятнистом блеске;
поет лавчонка; можно отстранить
легко звенящий бисер занавески:
поет портной, вытягивая нить.

И женщина у круглого фонтана
поет, полощет синее белье,
и пятнами ложится тень платана
на камни, на корзину, на нее.

Как хорошо в звенящем мире этом
скользить плечом вдоль меловых оград,
быть русским заблудившимся поэтом
среди лепета латинского цикад!

Сольес-Пон, 1923

* * *

Зовешь,— а в деревце гранатовом соенок
полаивает, как щенок.

В вечерней вышине так одинок и звонок
луны изогнутый клинок.

Зовешь,— и плещет ключ вечернею лазурью.
Как голос твой, вода свежа,
и в глиняный кувшин, лоснящийся глазурью,
луна вонзается дрова.

26.07.23.

Как бледная заря, мой стих негромок,
и кратко звуковое бытие,
и вряд ли мой разборчивый потомок
припомнит птичье прозвище мое.

Что ж делать, муза, жизнь моя. Мы будем
в подстрочном примечанье скромно жить...
Не прозвенеть, не высказать мне людям,
что надо Божьей тенью дорожить.

Что Божья тень волнистая сквозь наши
завесы разноцветные видна;
что день и ночь — две дорогие чаши
живой воды и звездного вина.

Не прозвенеть, не высказать — и скоро
мою забудут бледную зарю,
и первая забудет та, которой
последние лучи я подарю.

И все же, муза, счастлив я... Ты нежность,
ты — тишина; с тобой нельзя грустить;
ты в пенье дней житейскую мятежность,
как лишний слог, не можешь допустить.

31.08.23.

* * *

Ночь свищет, и в пожары млечные,
в невероятные края,
проваливаясь в бездны вечные,
идет по звездам мысль моя,
как по волнам во тьме неистовой,
где манит Господа рука
растрепанного, серебристого,
скользящего ученика...

2.09.23.

Санкт-Петербург — узорный иней,
ex libris беса, может быть,
но дивный... Ты уплыл, и ныне
мне не понять и не забыть.

Мой Пушкин бледный ночью, летом,
сей отблеск объяснял своей
Олениной, а в пенье этом
сквозная тень грядущих дней.

И ныне: лепет любопытных,
прах, нагота, крысиный шурк
в книгохранилищах гранитных;
и ты уплыл, Санкт-Петербург.

И долетая сквозь туманы
с воздушных площадей твоих,
меня печалит музы пьяной
скуластый и осипший стих.

Берлин, 25.09.23.

ГРОЗА

Стоишь ли, смотришь ли с балкона,
деревья ветер гнет, и сам
шалеет от игры, от звона
с размаху хлопающих рам.

Клубятся дымы дождевые
по заблеставшей мостовой
и над промокшею впервые
зелено-яблочной листвой.

От плеска слепну: ливень, снег ли,
не знаю. Громовой удар,
как будто в огненные кегли
чугунный прокатился шар.

Уходят боги громыхая,
стихает горняя игра,
и вот вся улица пустая —
лист озаренный серебра.

И с неба липою пахнуло
из первой ямки голубой,
и влажно в памяти скользнуло,
как мы бежали раз с тобой:

твой лепет, завитки сырые,
лучи смеющихся ресниц.
Наш зонтик, капли золотые
на кончиках раскрытых спиц...

1923

СКИТАЛЬЦЫ

За громадные годы изгнания,
вся колючим жаром дыша,
исходила ты мироздания,
о, косматая наша душа.

Семимильных сапог не обула,
и не мчал тебя чародей,
но от пыльных зловоний Стамбула
до парижских литых площадей,

от полярной губы до Бискры,
где с арабом прильнула к ручью,
ты прошла и сыпала искры,
если трогали шерсть твою.

Мы, быть может, преступнее, краше,
голодней всех племен мирских.
От языческой нежности нашей
умирают девушки их.

Слишком вольно душе на свете.
Встанет ветер всея Руси,
и душа скитальцев ответит,
и ей ветер скажет: неси.

И по ребрам дубовых лестниц
мы прикатим с собой на пир
бочки солнца, тугие песни
и в рогожу завернутый мир.

1924

ГОСТЬ

Хоть притупилась шпага, и сутулей
вхожу в сады, и запылен
мой черный плащ,— душа все тот же улей
случайно-сладостных имен.

И ни одна не ведает, внимая
моей заученной мольбе,
что рядом склеп, где статуя немая,
воспоминанье о тебе.

О, смена встреч, обманы вдохновенья.
В обманах смысл и сладость есть:
не жажда невозможного забвенья,
а увлекательная месть.

И вот душа вздыхает, как живая,
при убедительной луне,
в живой душе искусно вызывая
все то, что умерло во мне.

Но только с ней покину в сумрак сладкий,
и дивно задрожит она,
тройным ударом мраморной перчатки
вдруг будет дверь потрясена.

И вспомнится испанское сказанье,
и тяжело из загробных стран
смертельное любви воспоминанье
войдет, как белый великан.

Оно сожмет, торжественно, без слова
мне сердце дланью ледяной,
и пламенные пропасти былого
вдруг распахнутся предо мной.

Но не поняв, что сердцу нежеланна,
что сердце темное мертво,
доверчиво лепечет Донна Анна,
не видя гостя моего.

1924

КУБЫ

Сложим крылья наших видений.
Ночь. Друг на друга дома углами
валятся. Перешиблены тени.
Фонарь — сломанное пламя.

В комнате деревянный ветер косит
мебель. Зеркалу удержать трудно
стол, апельсины на подносе.
И лицо мое изумрудно.

Ты — в черном платье, полет, поэма
черных углов в этом мире пестром.
Упираешься, траурная теорема,
в потолок коленом острым.

В этом мире страшном, не нашем, Боже,
буквы жизни и целые строки
наборщики переставили. Сложим
крылья, мой ангел высокий.

1924

МОЛИТВА

Пыланье свеч то выявит морщины,
то по белку блестящему скользнет.
В звездах шумят древесные вершины,
и замирает крестный ход.
Со мною ждет ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.

Пылай, свеча, и трепетные пальцы
жемчужинами воска ороси.
О милых мертвых думают скитальцы,
о дальней молятся Руси.
А я молюсь о нашем дивьем диве,
о русской речи, плавной, как по ниве
движенье ветра... Воскреси!

О, воскреси душистую, родную,
косноязычный сон ее гнетет.
Искажена, искромсана, но чую
ее невидимый полет.
И ждет со мной ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волненье нивы.
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь.

1924

СТИХИ

Блуждая по запущенному саду,
я видел, в полдень, в воздухе слепом,
двух бабочек глазастых, до упаду
хохочущих над бархатным пупом
подсолнуха. А в городе однажды
я видел дом: был у него такой
вид, словно он смех сдерживает; дважды
прошел я мимо, и потом рукой
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет,
не прыснул: только в окнах огонек
лукавый промелькнул. Все это помнит
моя душа; все это ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.

1924

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ко мне, туманная Леила!
Весна пустынная, назад!
Бледно-зеленые ветрила
дворцовый распускает сад.

Орлы мерцают вдоль опушки.
Нева, лениво шелестя,
как Лета льется. След локтя
оставил на граните Пушкин.

Леила, полно, перестань,
не плачь, весна моя былая.
На вывеске плавучей — глянь —
какая рыба голубая.

В петровом бледном небе — штиль,
флотилия туманов вольных,
и на торцах восьмиугольных
все та же золотая пыль.

Берлин, 26.05.24.

ВЕЧЕР

Я в угол сарая кирку и лопату
свалил с плеча и пот отер,
и медленно вышел навстречу закату
в прохладный розовый костер.

Он мирно пылал за высокими буками,
между траурных ветвей,
где вспыхнул на миг драгоценными звуками
напряженный соловей.

И сдавленный гам, жабий хор гуттаперчевый
на пруду упруго пел.
Осекся. Пушком мимолетным доверчиво
мотылек мне лоб задел.

Темнели холмы: там блеснул утешительный
трепет огоньков ночных.
Далече пропыхивал поезд. И длительно
свистнул... длительно утих...

И пахло травой. И стоял я без мысли.
Когда же смолк туманный гуд,
заметил, что смерклось, что звезды нависли,
что слезы по лицу текут.

10.07.24.

ИСХОД

Муза, с возгласом, со вздохом шумным
у меня забила на руках.
В звездном небе тихом и безумном
снежный поднимающийся прах

очертанья принимал, как если
долго вглядываться в облака:
образы гранитные воскресли,
смуглый купол плыл издалека.

Через млечный путь бледно-туманный
перекинулись из темноты
в темноту — о, музы, как неожиданно! —
явственные невские мосты.

И задев в седом и синем мраке
исполинским куполом луну,
скрипнувшую, как сугроб, Исакий
медленно пронесся в вышину.

Словно ангел на носу фрегата,
бронзовым протянутым перстом
рассекая звезды, плыл куда-то
Всадник, в изумленье неземном.

И по тверди поднимался тучей,
тускло озаренной изнутри,
дом; и вереницею текучей
статуи, колонны, фонари

таяли в просторах ночи синей,
и неспешно догоняя их,
к Господу несли свой чистый иней
призраки деревьев неживых.

Так проплыл мой город непорочный,
дивно оторвавшись от земли.
И опять в гармонии полночной
только звезды тихие текли.

И тогда моя полуживая
маленькая муза, трепеща,
высунулась робко из-за края
нашего широкого плаща.

Берлин, 11.09.24.

УТРО

Шум зари мне чудился, кипучий
муравейник отблесков за тучей.
На ограду мрака и огня,
на ограду реющего рая
облокачивался Зодчий Дня,
думал и глядел, не раскрывая
своего туманного плаща,
как толпа работников крылатых,
крыльями блестящими треща,
солнце поднимает на канатах.

Выше, выше... выше! Впопыхах
просыпаюсь. Купол занавески,
полный ветра, в синеватом блеске
дышит и спадает. Во дворах
по коврам уже стучат служанки,
и пальбою плоской окружен,
медяки вымаливает стон
старой, удивительной шарманки...

Берлин, 5.12.24.

В ПЕЩЕРЕ

Над Вифлеемом ночь застыла.
Я блудную овцу искал.
В пещеру заглянул — и было
виденье между черных скал.

Иосиф, плотник бородатый,
сжимал, как смуглые тиски,
ладони, знавшие когда-то
плоть необструганной доски.

Мария слабая на чадо
улыбку устремляла вниз,
вся умиление, вся прохлада
линялых синеватых риз.

А он, младенец светлоокий
в венце из золотистых стрел,
не видя матери, в потоки
своих небес уже смотрел.

И рядом, в темноте счастливой,
по белизне и бубенцу
я вдруг узнал, пастух ревнивый,
свою пропавшую овцу.

Берлин, 11.12.24.

К РОДИНЕ

Ночь дана, чтоб думать и курить,
и сквозь дым с тобою говорить.

Хорошо... Пошуркивает мышь,
много звезд в окне и много крыш.

Кость в груди нащупываю я:
родина, вот эта кость — твоя.

Воздух твой, вошедший в грудь мою,
я тебе стихами отдаю.

Синей ночью рдяная ладонь
охраняла вербный твой огонь.

И тоскуют впадины ступней
по земле пронзительной твоей.

Так все тело — только образ твой,
и душа — как небо над Невой.

Покурю и лягу, и засну,
и твою почувствую весну:

угол дома, памятный дубок,
граблями расчесанный песок.

1924

ВЕЛИКАН

Я вылепил из снега великана,
дал жизнь ему и в ночь на Рождество
к тебе, в поля, через моря тумана,
я, грозный мастер, выпустил его.

Над ним кружились вороны, как мухи
над головою белого быка.
Его не вьюги создали, не духи,
а только огрубелая тоска.

Слепой, как мрамор, близился он к цели,
Шагал, неотразимый, как зима.
Охотники, плутовавшие в метели,
его видали и сошли с ума.

Но вот достиг он твоего предела
и замер вдруг: цвела твоя страна,
ты счастлива была, дышала, рдела,
в твоей стране всем правила весна.

Легка, проста, с душою шелковистой,
ты в солнечной скользила тишине,
и новому попутчику так чисто,
так гордо говорила обо мне.

И перед этим солнцем отступая,
поняв, что с ним соперничать нельзя,
растаяла тоска моя слепая,
вся синевой весеннею сквозя.

Берлин, 13.12.24.

ШЕКСПИР

Среди вельмож времен Елизаветы
и ты блистал, чтил пышные заветы,
и круг брыжей, атласным серебром
обтянутая ляжка, клин бородки —
все было, как у всех... Так в плащ короткий
божественный запахивался гром.

Надменно-чужд тревоге театральной,
ты отстранил легко и беспечально
в сухой венок свивающийся лавр
и скрыл навек чудовищный свой гений
под маскою, но гул твоих видений
остался нам: венецианский мавр
и скорбь его; лицо Фальстафа — вымя
с наклонными усиками; Лир
бушующий... Ты здесь, ты жив — но имя,
но облик свой, обманывая мир,
ты потопил в тебе любезной Лете.
И то сказать: труды твои привык
подписывать — за плату — ростовщик,
тот Вилль Шекспир, что «Тень» играл
в «Гамлете»,
жил в кабаках и умер, не успев
переварить кабанью головизну...

Дышал фрегат, ты покидал отчизну.
Италию ты видел. Нараспев
звал женский голос сквозь узор железа,
звал на балкон высокого инглеза,
томимого лимонною луной
на улицах Вероны. Мне охота
воображать, что, может быть, смешной
и ласковый создатель Дон Кихота
беседовал с тобою — невзначай,
пока меняли лошадей — и, верно,
был вечер синь. В колодце, за таверной,
ведро звенело чисто... Отвечай,
кого любил? Откройся, в чьих записках

ты упомянут мельком? Мало ль низких,
ничтожных душ оставили свой след —
каких имен не сыщешь у Брантома!
Откройся, бог ямбического грома,
стоустый и немислимый поэт!

Нет! В должный час, когда почуял — гонит
тебя Господь из жизни — вспоминал
ты рукописи тайные, и знал,
что твоего величия не тронет
молвы мирской бесстыдное клеймо,
что навсегда в пыли столетий зыбкой
пробудешь ты безликим, как само
бессмертие... И вдаль ушел с улыбкой.

Декабрь 1924

МАТЬ

Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,
спускается толпа, вьясь между олив,
 подобно медленному змию;
и матери глядят, как под гору, в туман
увещающий уводит Иоанн
 седую, страшную Марию.

Уложит спать ее и сам приляжет он,
и будет до утра подслушивать сквозь сон
 ее рыданья и томленье.
Что, если у нее остался бы Христос
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
 не стоит наше искупленье?

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;
у гроба, в третий день, виденье встретит жен,
 вотще купивших ароматы;
светящуюся плоть ощупает Фома;
от веянья чудес земля сойдет с ума,
 и будут многие распяты.

Мария, что тебе до бреда рыбарей!
Неосвязаемо над горестью твоей
 дни проплывают, и ни в третий,
ни в сотый, никогда не вспрынет он на зов,
твой смуглый первенец, лепивший воробьев
 на солнцепеке, в Назарете.

Берлин, 1925

ВЕСНА

Помчал на дачу паровоз.
Толпою легкой, оробелой
стволы взбегают на откос:
дым засквозил волною белой
в апрельской пестроте берез.
В вагоне бархатный диванчик
еще без летнего чехла.
У рельс на желтый одуванчик
садится первая пчела.

Где был сугроб, теперь дырявый
продолговатый островок
вдоль зеленеющей канавы:
покрылся копотью, размок
весною пахнущий снежок.

В усадьбе сумерки и стужа.
В саду, на радость голубям,
блистает облачная лужа.
По старой крыше, по столбам,
по водосточному колену —
помазать наново пора
зеленой краской из ведра —
ложится весело на стену
тень лестницы и маляра.

Верхи берез в лазури свежей,
усадьба, солнечные дни
— все образы одни и те же,
все совершеннее они.
Вдали от ропота изгнанья
живут мои воспоминанья
в какой-то неземной тиши:

бессмертно все, что неозвратно,
и в этой вечности обратной
блаженство гордое души.

1925

БЕРЛИНСКАЯ ВЕСНА

1

Нищетою необычной
на чужбине дорожу.
Утром в ратуше кирпичной
за конторкой не сижу.

Где я только не шатаюсь
в пустоте весенних дней!
И к подруге возвращаюсь
все позднее и позднее.

В полумраке стул задену
и, нащупывая свет,
так растопаюсь, что в стену
стукнет яростно сосед.

Утром он наполовину
открывать окно привык,
чтобы высунуть перину,
как малиновый язык.

Утром музыкант бродячий
двор наполнит до краев
при участии горячей
суматохи воробьев.

Понимают, слава Богу,
что всему я предпочту
дикую мою дорогу,
золотую нищету.

2

Когда весеннее мечтанье
влечет в синеющую мглу,
мне назначается свиданье
под тем каштаном на углу.

Его цветущая громада
туманно звездами сквозит.
Под нею — черная ограда
и ящик спереди прибит.

Я приникаю к самой щели,
ловлю волнующийся гам,
как будто звучно закипели
все письма, спрятанные там.

Еще листов не развернули,
еще никто их не прочел...
Гуди, гуди, железный улей,
почтовый ящик, полный пчел.

Над этим трепетом и звоном
каштан раскидывает кров,
и сладко в сумраке зеленом
сияют факелы цветов.

1925.

СОН

Однажды ночью подоконник
дождем был шумно орошен.
Господь открыл свой тайный сонник
и выбрал мне сладчайший сон.

Звуча знакомою тревогой,
рыданье ночи дом трясло.
Мой сон был синее дорогой
через тенистое село.

Под мягкой грудой колеса
скрипели глубоко внизу:
я навзничь ехал с сенокоса
на синем от теней возу.

И снова, тяжело, упрямо,
при каждом повороте сна
скрипела и кренилась рама
дождем дышавшего окна.

И я, в своей дремоте синей,
не знал, что истина, что сон:
та ночь на роковой чужбине,
той рамы беспокойный стон,

или ромашка в теплом сене
у самых губ моих, вот тут,
и эти лиственные тени,
что сверху кольцами текут...

1925

ТЕНЬ

К нам в городок приехал в гости
бродячий цирк на семь ночей.
Блистали трубы на помосте,
надулись щеки трубачей.

На площадь, убранную странно,
мы все глядели — синий мрак,
собор святого Иоанна
и сотня пестрая зевак.

Дыханье трубы затаили,
и над бесшумною толпой
вдруг тишину переступили
куранты звонкою стопой.

И в вышине, перед старинным
собором, на тугой канат,
шестом покачивая длинным,
шагнул, сияя, акробат.

Курантов звон, который длился,
пока в нем пребывал Господь,
как будто в свет преобразился
и в вышине облекся в плоть.

Стена соборная щербата
и ослепительна была;
тень голубая акробата
подвижно на нее легла.

Все выше над резьбой портала,
где в нише — статуя и крест,
тень угловатая ступала,
неся свой вытянутый шест.

И вдруг над башней с циферблатом,
ночную схвачен синевою,

исчез он с трепетом крылатым —
прелестный облик теневой.

И снова заиграли трубы,
меж тем, как потен и тяжел,
в погасших блесках, гаер грубый
за подаяньем к нам сошел.

Шварцвальд, 1925

КОМНАТА

Вот комната. Еще полуживая,
но оживет до завтрашнего дня.
Зеркальный шкаф глядит, не узнавая,
как ясное безумье, на меня.

В который раз выкладываю вещи,
знакомлюсь вновь с причудами ключей;
и медленно вся комната трепещет,
и медленно становится моей.

Совершенно. Все призвано к участию
в моем существованье, каждый звук:
скрип ящика, своею доброй пастью
пласты белья берущего из рук.

И рамы, запирающейся плохо,
стук по ночам — отмщенье за сквозняк;
возня мышей, их карликовый грохот,
и чей-то приближающийся шаг:

он никогда не подойдет вплотную;
как на воде за кругом круг, идет
и пропадает, и опять я чую,
как он вздохнул и двинулся вперед.

Включаю свет. Все тихо. На перину
свет падает малиновым холмом.
Все хорошо. И скоро я покину
вот эту комнату и этот дом.

Я много знал таких покорных комнат,
но пригляжусь, и грустно станет мне:
никто здесь не полюбит, не запомнит
старательных узоров на стене.

Сухую акварельную картину
и лампу в старом платье сквозном

забуду сам, когда и я покину
вот эту комнату и этот дом.

В другой пойду: опять однообразность
обоев, то же кресло у окна...
Но грустно мне: чем незаметней разность,
тем, может быть, божественней она.

И может быть, когда похолодеем
и в голый рай из жизни перейдем,
забывчивость земную пожалеем,
не зная, чем обставить новый дом...

1926

СНЫ

Странствуя, ночуя у чужих,
я гляжу на спутников моих,
я ловлю их говор тусклый.
Роковых я требую примет:
кто увидит родину, кто нет,
кто уснет в земле нерусской.

Если б знать. Ведь странникам даны
только сны о родине, а сны
ничего не переменят.
Что таить — случается и мне
видеть сны счастливые: во сне
я со станции в именье

еду, не могу сидеть, стою
в тарантасе тряском, узнаю
все толчки весенних рытвин,
еду, с непокрытой головой,
белый, что платок твой, и с душой
слишком полной для молитвы.

Господи, я требую примет:
кто увидит родину, кто нет,
кто уснет в земле нерусской.
Если б знать. За годом валит год,
даже тем, кто верует и ждет,
даже мне бывает грустно.

Только сон утешит иногда.
Не на области и города,
не на волости и села,

вся Россия делится на сны,
что несметным странникам даны
на чужбине, ночью долгой.

1926

ГODOBЩИНА

В те дни, дай Бог, от краю и до краю
гражданская повеет благодать:
все сбудется, о чем за чашкой чаю
мы на чужбине любим погадать.

И вот последний человек на свете,
кто будет помнить наши времена,
в те дни на оглушительном банкете,
шалея от волнения и вина,

дрожащий, слабый, в дряхлом умиленье
поднимется... Но нет, он слишком стар:
черта изгнанья тает в отдаленье,
и ничего не помнит юбиляр.

Мы будем спать, минутные поэты;
я, в частности, прекрасно буду спать,
в бою случайном ангелом задетый,
в родимый прах вернувшийся опять.

Библиофил какой-нибудь, я чую,
найдет в былых, не нужных никому
журналах, отпечатанных вслепую
нерусскими наборщиками, тьму

статей, стихов, чувствительных романов
о том, как Русь была нам дорога,
как жил Петров, как странствовал Иванов,
и как любил покорный ваш слуга.

Но подписи моей он не отметит:
Забыто все... И, Муза, не беда!
давай блуждать, давай глазеть, как дети,
на проносящиеся поезда,

на всякий блеск, на всякое движенье,—
предоставляя выпревшим глупцам
бранить наш век, пенять на сновиденье,
единый раз дарованное нам.

1927

РАССТРЕЛ

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат;
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею,—
вот-вот сейчас пальнет в меня —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания
коснется тиканье часов,
благополучного изгнания
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.

Берлин, 1927

РОДИНА

Бессмертное счастье наше
Россией зовется в веках.
Мы края не видели краше,
а были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,
нам русская снилась земля.
Изгнание, где твое жало,
чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие,
что сердцу легко по ночам;
и гордые музы России
незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму
лесов на равнинах родных,
за ими внушенную думу,
за каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной,
где мирен изгнанника сон,
как ветром, как морем, как тайной,
Россией всегда окружен.

1927

ЛИЛИТ

Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы.

Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
«Добро, я, кажется, в раю».

От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая
с речною лилией в кудрях,
стройна, как женщина, и нежно
цвели сосцы — и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко-близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.

И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищною гуляки
я подошел к моей Лилит.
Через плечо зеленым глазом
она взглянула — и на мне
одежды вспыхнули и разом
испепелились.

В глубине
был греческий диван мохнатый,
вино на столике, гранаты,
и в вольной росписи стена.
Двумя холодными перстами
по-детски взяв меня за пламя:
«Сюда», промолвила она.
Без принужденья, без усилья,

лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.
И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,
и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил,—
как вдруг она легко рванулась,
отпрянула, и ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался
и ринулся и зашатался
от ветра странного. «Впусти»,
я крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою,
и мерзко блеющие дети
глядят на булаву мою.
«Впусти»,— и козлоногий, рыжий
народ все множился. «Впусти же,
иначе я с ума сойду!»
Молчала дверь. И перед всеми
мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду.

Берлин, 1928

КИРПИЧИ

Ища сокровищ позабытых
и фараоновых мощей,
ученый в тайниках разрытых
набрел на груду кирпичей,
среди которых был десяток
совсем особенных: они
хранили беглый отпечаток
босой младенческой ступни,
собачьей лапы и копытца
газели. Многие за них
лихому времени простится —
безрукий мрамор, темный стих,
обезображенные фрески...

Как это было? В синем блеске
я вижу красоту песков.
Жара. Полуденное время.
Еще одиннадцать веков
до звездной ночи в Вифлееме.

Кирпичник спит, пока лучи
пекут, работают беззвучно.
Он спит, пока благополучно
на солнце сохнут кирпичи.
И вот по ним дитя ступает,
отцовский позабыв запрет,
то скачет, то перебегает,
невольный вдавливая след,
меж тем, как, вокруг него играя,
собака и газель ручная
пускаются вперегонки.
Внезапно — окрик, тень руки:
конец летучему веселью.
Дитя с собакой и газелью
скрывается. Все горячей
синеет небо. Сохнут чинно
ряды лиловых кирпичей.

Улыбка вечности невинна.
Мир для слепцов необъясним,
но зрячим все понятно в мире,
и ни одна звезда в эфире,
быть может, не сравнится с ним.

1928

К РОССИИ

Мою ладонь географ строгий
разрисовал: тут все твои
большие, малые дороги,
а жилы — реки и ручьи.

Слепец, я руки простираю
и все земное осязаю
через тебя, страна моя.
Вот почему так счастлив я.

И если правда, что намедни
мне померещилось во сне,
что час беспечный, час последний
меня найдет в чужой стране,

как на покато́й школьной парте,
совьешься ты подобно карте,
как только отпущу края,
и ляжешь там, где лягу я.

1928

СНЕГ

О, этот звук! По снегу —
скрип, скрип, скрип —
в валенках кто-то идет.

Толстый крученный лед
остриями вниз с крыши повис.
Снег скрипуч и блестящ.
(О, этот звук!)

Салазки сзади не тащатся —
сами бегут, в пятки бьют,

Сяду и съеду
по крутому, по ровному:
валенки врозь,
держусь за веревочку.

Отходя ко сну,
всякий раз думаю:
может быть, удосужится
меня посетить
тепло одетое, неуклюжее
детство мое.

Берлин, 1930

УЛЬДАБОРГ

(перевод с зоорландского)

Смех и музыка изгнаны. Страшен
Ульдаборг, этот город немой.
Ни садов, ни базаров, ни башен,
и дворец обернулся тюрьмой:

математик там плачется кроткий,
там — великий бильярдный игрок.
Нет прикрас никаких у решетки.
О, хотя бы железный цветок,

хоть бы кто-нибудь песней прославил,
как на площади, пачкая снег,
королевских детей обезглавил
из Торвальта силач-дровосек.

И какой-то назойливый нищий
в этом городе ранних смертей,
говорят, все танцмейстера ищет
для покойных своих дочерей.

Но последний давно удавился,
сжег последнюю скрипку палач,
и в Германию переселился
в опаленных лохмотьях скрипач.

И хоть праздники все под запретом
(на молу фейерверки весной
и балы перед ратушей летом),
будет праздник, и праздник большой.

Справа горы и Водберг алмазный,
слева сизое море горит,
а на площади шепот бессвязный:
Ульдаборг обо мне говорит.

Озираются, жмутся тревожно.
Что за странные лица у всех!
Дико слушают звук невозможный:
я вернулся, и это мой смех —

над запретами голого цеха,
над законами глухонемых,
над пустым отрицанием смеха,
над испугом сограждан моих.

Погляжу на знакомые дюны,
на алмазную в небе гряду,
глубже руки в карманы засуну
и со смехом на плаху взойду.

1930

ПОЭТЫ

Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет. Плывет отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.

Пора, мы уходим — еще молодые,
со списком еще не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас доконали,
и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть
своею свободой добрых людей.
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира,
окна, в отдаленье поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;

красы, укоризны; детей малолетних,
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних;
красы, укоризны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит;
рыданья рекламы на том берегу,
текучих ее изумрудов в тумане,
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского
в ту область... как хочешь ее назови:

пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,
иль, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги тележной,
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны — любви безнадежной —
молчанье зарницы, молчанье зерна.

Париж, 1939

К РОССИИ

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд,
поздно, поздно, никто не ответит,
и душа никому не простит.

Париж, 1939

СЛАВА

И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто восковой, поджарый, с копотью в красных ноздрях, и сижу, и решить не могу: человек это, или просто так — разговорчивый прах.

Как проситель из наглых, гроза общежитий, как зловещий друг детства, как старший шпион (шепелявым таким шепотком: а скажите, что вы делали там-то?), как сон,

как палач, как шпион, как друг детства зловещий, как в балканской новелле влиянье, как их,

символистов — но хуже. Есть вещи, вещи, которые... даже... (Акакий Акакиевич любил, если помните, «плевелы речи»,

и он, как Наречье, мой гость восковой),

и сердце просится, и сердце мечется, и я не могу. А его разговор

так и катится острою осыпью под гору и картавое, кроткое слушать должно

и заслушиваться господина бодрого, оттого что без слов и без славы оно.

Как пародия совести в драме бездарной, как палач и озноб, и последний рассвет

— о, волна, поднимись, тишина благодарна и за эту трехсложную музыку. Нет,

не могу языку заказать эти звуки, ибо гость говорит, и так веско,

господа, и так весело, и на гадюке то панама, то шлем, то фуражка, то феска:

иллюстрации разных существенных доводов, головные уборы, как мысли вовне;

или, может быть — было бы здорово, если б этим шутник указывал мне,

что я страны менял, как фальшивые деньги, торопясь и боясь оглянуться назад,

как раздваивающееся привиденье, как свеча меж зеркал, уплывая в закат.

Далеко до лугов, где ребенком я плакал,

упустив аполлона, и дальше еще
до еловой аллеи с полосками мрака,
меж которыми полдень сквозил горячо.
Но воздушным мостом мое слово изогнуто
через мир, и чредой спицевидных теней
без конца по нему прохожу я инкогнито
в полыхающий сумрак отчизны моей.

Я божком себя вижу, волшебником с птичьей
головой, в изумрудных перчатках, в чулках
из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите
и остановитесь на этих строках.

Обращение к несуществующим: кстати,
он не мост, этот шорох, а цепь облаков,
и лишённые самой простой благодати
(доходенья до глаз, до локтей, до висков),
«твои бедные книги», сказал он развязно,
«безнадёжно растают в изгнание. Увы,
эти триста листов беллетристики праздной
разлетятся — но у настоящей листы
есть куда упадать, есть земля, есть Россия,
есть тропа вся в лиловой кленовой крови,
есть порог, где слоятся тузы золотые,
есть канавы — а бедные книги твои
без земли, без тропы, без канав, без порога,
опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь,
как базарный факир, то есть не без подлога,
и недолго ей в дымчатом воздухе цвести.
Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость,
в захолустьи русском, при лампе, в пальто,
среди гильз папиросных, каких-то опилок,
и других озаренных неясностей, кто
на столе развернет образец твоей прозы,
зачитается ею под шум дождевой,
набегающий шум законной березы,
поднимающей книгу на уровень свой?
Нет, никто никогда на просторе великом
ни одной не помянет страницы твоей:
ныне дикий пребудет в неведение диком,
друг степей для тебя не забудет степей.

В длинном стихотворении «Слава» писателя, так сказать, занимает проблема, гнетет мысль о контакте с сознанием читателя. К сожаленью, и это навек пропадет. Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве до конца, до небес доскрестись: никогда, никогда не мелькнет мое имя — иль разве (как в трагических тучах мелькает звезда) в специальном труде, в примечанье к названью эмигрантского кладбища, и наравне с именами собратьев по правописанью, обстоятельством места навязанных мне. Повторил? А случилось еще, ты пописывал не без блеска на вовсе чужом языке, и припомни особенный привкус анисовый тех потуг, те метанья в словесной тоске. И виденье: на родине. Мастер. Надменность. Непреклонность. Но тронуть не смеют. Порой перевод иль отрывок. Поклонники. Ценность европейская. Дача в Алуште. Герой».

И тогда я смеюсь, и внезапно с пера
мой любимый слетает анапест,
образуя ракеты в ночи, так быстра
золотая становится запись.

И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,
сонных мыслей и умыслов сводня,
не затронула самого тайного. Я
удивительно счастлив сегодня.

Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе.

Оттого так смешна мне пустая мечта
о читателе, теле и славе.

Я без тела разросся, без отзвука жив,
и со мной моя тайна всечасно.

Что мне тление книг, если даже разрыв
между мной и отчизною — частность.

Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
но под звезды я буквы подставил

и в себе прочитал, чем себя превозмочь,
а точнее сказать я не вправе.
Не доверяясь соблазнам дороги большой
или снам, освященным веками,
остаюсь я безбожником с вольной душой
в этом мире, кишачем богами.
Но однажды, пласты разуменья дробя,
углубляясь в свое ключевое,
я увидел, как в зеркале, мир и себя,
и другое, другое, другое.

Уэльслей, Масс, 1942

ПАРИЖСКАЯ ПОЭМА

«Отведите, но только не бросьте.
Это — люди; им жалко Москвы.
Позаботьтесь об этом прохвосте:
он когда-то был ангел, как вы,
И подайте крыло Никанору,
Аврааму, Владимиру, Льву —
смерду, князю, предателю, вору:
ils furent des anges comme vous.
Всю ораву, ужасные выи
стариков у чужого огня,
господа, господа голубые,
пожалейте вы ради меня!

От кочующих, праздно плутающих
уползаю, и вот привстаю,
и уже я лечу, и на тающих
рифмы нет в моем новом раю.
Потому-то я вправе по чину
к вам, бряцая, в палаты войти.
Хорошо. Понимаю причину —
но их надо, их надо спасти.
Хоть бы вы призадумались, хоть бы
согласились взглянуть. А пока
остаюсь с привидением (подпись
неразборчива: ночь, облака)».

Так он думал без воли, без веса,
сам в себя, как наследник, летя.
Ночь дышала: вздувалась завеса,
облакам облаками платя.
Стул. На стуле он сам. На постели
снова — он. В бездне зеркала — он.
Он — в углу, он — в полу, он — у цели,
он в себе, он в себе, он спасен.

А теперь мы начнем. Жил в Париже,
в пятом доме по рю Пьер Лоти,

некто Вульф, худощавый и рыжий инженер лет пятидесяти.

А под ним — мой герой: тот писатель, о котором писал я не раз, мой приятель, мой работодатель.

Посмотрев на часы, и сквозь час дно и камушки мельком увидя, он оделся и вышел. У нас это дно называлось: Овидий откормлен (от Carmina). Муть и комки в голове после черной стихотворной работы. Чуть-чуть моросит, и над улицей черной без звездочки муругая муть.

Но поэмы не будет: нам некуда с ним идти. По ночам он гулял. Не любил он ходить к человеку, а хорошего зверя не знал.

С этим камнем ночным породниться, пить извозчичье это вино...

Трясогузками ходят блудницы, и на русском Парнасе темно.

Вымирают косматые мамонты, чуть жива красноглазая мышь.

Бродят отзвуки лиры безграмотной: с кондачка переход на Буль-Миш.

С полурусского, полузабытого переход на подобье арго.

Бродит боль позвонка перебитого в черных дебрях Бульвар Араго.

Ведь последняя капля России уже высохла. Будет, пойдём.

Но еще подписаться мы силимся кривоклювым почтамтским пером.

Чуден ночью Париж сухопарый.

Чу! Под сводами черных аркад,

где стена, как скала, писсуары
за щитами своими журчат.
Есть судьба и альпийское нечто
в этом плеске пустынном. Вот-вот
захлебнется меж четом и нечетом,
между мной и не мной, счетовод.
А мосты — это счастье навеки,
счастье черной воды. Посмотри:
как стекло несравненной аптеки
и оранжевые фонари.
А вверху — там неважные вещи.
Без конца. Без конца. Только муть.
Мертвый в омуте месяц мерещится.
Неужели я тоже? Забудь.
Смерть еще далека (послезавтра я
все продумаю), но иногда
сердцу хочется «автора, автора»..
В зале автора нет, господа.
И покуда глядел он на месяц,
синеватый, как кровоподтек,
раздался где-то в дальнем предместье
паровозный щемящий свисток.
Лист бумаги, громадный и чистый,
стал вытаскивать он из себя:
лист был больше него и неистовствовал,
завиваясь в трубу и скрипя.
И борьба показалась запутанной,
безысходной: я, черная мгла,
я, огни и вот эта минута —
и вот эта минута прошла.
Но как знать, может быть бесконечно
драгоценна она, и потом
пожалую, что бесчеловечно
обошелся я с этим листом.
Что-нибудь мне, быть может, напели
эти камни и дальний свисток.
И пошарив по темной панели,
он нашел свой измятый листок.

В этой жизни, богатой узорами
(неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актерами,
будет в новом театре дана),
я почел бы за лучшее счастье
так сложить ее дивный ковер,
чтоб пришелся узор настоящего
на былое, на прежний узор;
чтоб опять очутиться мне — о, не
в общем месте хотений таких,
не на карте России, не в лоне
ностальгических неразберих, —
но с далеким найдя соответствие,
очутиться в начале пути,
наклониться — и в собственном детстве
кончик спутанной нити найти.
И распутать себя осторожно,
как подарок, как чудо, и стать
серединою многодорожного
громкогласного мира опять.

И по яркому гомону птичьему,
по ликующим липам в окне,
по их зелени преувеличенной
и по солнцу на мне и во мне,
и по белым гигантам в лазури,
что стремятся ко мне напрямик,
по сверканью, по мощи, прищуриться
и узнать свой сегодняшний миг.

Кембридж, Масс, 1943

О ПРАВИТЕЛЯХ

Вы будете (как иногда
говорится)
смеяться, вы будете (как ясновидцы
говорят) хохотать, господа —
но, честное слово,
у меня есть приятель,
которого
привела бы в волнение мысль поздороваться
с главою правительства или другого какого
предприятия.

С каких это пор, желал бы я знать,
под ложечкой
мы стали испытывать вроде
нежного бульканья, глядя в бинокль
на плотного с ежиком в ложе?

С каких это пор
понятие власти стало равно
ключевому понятию родины?
Какие-то римляне и мясники,
Карл Красивый и Карл Безобразный,
совершенно гнилые князьки,
толстогрудые немки и разные
людоеды, любовники, ломовики,
Иоанны, Людовики, Ленины,
все это сидело, кряхтя на эх и на ых,
упираясь локтями в колени
на престолах своих матерых.
Умирает со скуки историк:
за Мамаем все тот же Мамай.

В самом деле, нельзя же нам с горя
поступить, как чиновный Китай,
кучу лишних веков присчитавший
к истории скромной своей,
от этого, впрочем, не ставшей
ни лучше, ни веселей.

Кучера государств зато хороши
при исполнении должности: шибко

ледяная навстречу летит синева,
огневые трещат на ветру рукава...

Наблюдатель глядит иностранный
и спереди видит прекрасные очи навывкат,
а сзади прекрасную помесь диванной
подушки с чудовищной тыквой.

Но детина в регалиях или
волк в макинтоше,
в фуражке с немецким крутым козырьком,
охрипший и весь перекошенный,
в остановившемся автомобиле —
или опять же банкет
с кавказским вином —
нет.

Покойный мой тезка,
писавший стихи и в полоску,
и в клетку, на самом восходе
всесоюзно-мещанского класса,
кабы дожил до полдня,
нынче бы рифмы натягивал
на «монументален»,
на «переперчил»
и так далее.

Кембридж, Масс, 1944

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЯМБЫ

В последний раз лиясь листьями
между воздушными перстами
и проходя перед грозой
от зелени уже настойчивой

до серебристости простой,
олива бедная, листва
искусства, плещет, и слова
лелеять бы уже не стоило,

если б не зоркие глаза
и одобрение бродяги,
если б не лилия в овраге,
если б не близкая гроза.

Итака, 1953

Как над стихами силы средней
эпиграф из Шенье,
как луч последний, как последний
зефир... comme un dernier...

Так ныне над простором голым
моих минувших лет
каким-то райским ореолом
горит нерусский свет!

1956

Целиком в мастерскую высокую
входит солнечный вечер ко мне:
он как потные знаки, он фокусник,
он сирень на моем полотне.

Ничего из работы не вышло,
только пальцы в пастельной пыли.
Смотрят с неба художники бывшие
на румяную щеку земли.

Я ж смотрю, как в стеклянной обители
зажигается сто этажей,
и как американские жители
там стойком поднимаются в ней.

Все, от чего оно сжимается,
миры в тумане, сны, тоска
и то, что мною принимается
как должное — твоя рука;

все это под одною крышею
в плену моем живет, поет,
но сводится к четверостишию,
как только ямб ко дну идет.

И оттого, что — как мне помнится —
жильцы родного словаря
такие бедняки и скромницы:
холм, папоротник, ель, заря,

читателя мне не разжалобить,
а с музыкой я незнаком,
и удовлетворяюсь, стало быть,
ничьей меж смыслом и смычком.

«Но вместо всех изобразительных
приемов и причуд, нельзя ль
одной опушкой существительных
и воздух передать, и даль?»

Я бы добавил это новое,
но наподобие кольца
сомкнуло строй уже готовое
и не впустило пришлеца.

Вечер дымчат и долог:
я с мольбою стою,
молодой энтомолог,
перед жимолостью.

О, как хочется, чтобы
там, в цветах, вдруг возник,
запуская в них хобот,
райский сумеречник.

Содроганье — и вот он.
Я по ангелу бью,
и уж демон замотан
в сетку дымчатую.

Какое б счастье или горе
ни пело в прежние года,
метафор, даже аллегорий
я не чуждался никогда.

И ныне замечаю с грустью,
что солнце меркнет в камышах,
и рябь чешуйчатее к устью,
и шум морской уже в ушах.

Итака, 50-е

6. СОН

Есть сон. Он повторяется, как томный стук замурованного. В этом сне киркой работаю в дыре огромной и нахожу обломок в глубине.

И фонарем на нем я освещаю след надписи и наготу червя.

«Читай, читай!» — кричит мне кровь моя:

Р, О, С, — нет, я букв не различаю.

Зимы ли серые смыли
очерк единственный? Эхо ли
все, что осталось от голоса? Мы ли
поздно приехали?

Только никто не встречает нас. В доме
рояль — как могила на полюсе. Вот тебе
ласточки. Верь тут, что кроме
пепла есть оттепель.

С СЕРОГО СЕВЕРА

С серого севера
вот пришли эти снимки.

Жизнь успела не все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.

Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредежь.
Отовсюду почти
мне к себе до сих пор еще
удалось бы пройти.

Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.

Все, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово-
зеленоватого,
он приносит торжественно.

Вот это Батово.
Вот это Рожественно.

Монре, 1967

To Vera

Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих,
в буераки, к чужим атаманам!
Геометрию их, Венецию их
назовут шутовством и обманом.

Только ты, только ты все дивилась вослед
черным, синим, оранжевым ромбам...
«N писатель недюжинный, сноб и атлет,
наделенный огромным апломбом...»

Монре, 1.10.74.

СОДЕРЖАНИЕ

Встреча	3
Песня	5
Прованс	7
«Зовешь,— а в деревце гранатовом соенок...»	9
«Как бледная заря, мой стих негромок...»	10
«Ночь свищет, и в пожары млечные...»	11
«Санкт-Петербург — узорный иней...»	12
Гроза	13
Скитальцы	14
Гость	15
Кубы	17
Молитва	18
Стихи	19
Санкт-Петербург	20
Вечер	21
Исход	22
Утро	24
В пещере	25
К Родине	26
Великан	27
Шекспир	28
Мать	30
Весна	31
Берлинская весна	33
Сон	35
Тень	36
Комната	38
Сны	40
Годовщина	42
Расстрел	44

Родина	45
Лилит	46
Кирпичи	48
К России	50
Снег	51
Ульдаборг (перевод с зоорландского)	52
Поэты	54
К России	56
Слава	57
Парижская поэма	61
О правителях	65
Неправильные ямбы	67
1. «Как над стихами силы средней...»	68
2. «Целиком в мастерскую высокую...»	69
3. «Все, от чего оно сжимается...»	70
4. «Вечер дымчат и долог...»	71
5. «Какое б счастье или горе...»	72
6. Сон	73
7. «Зимы ли серые смыли...»	74
С серого севера	75
«Ах, угонят их в стену, Арлекинов моих...»	76

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ

АНГЕЛОМ ЗАДЕТЫЙ

Выпуск 2

Редактор-составитель

Я. Маркович

Художник

М. Перфильева

Технический редактор

Л. Беседина

Корректор

Н. Кузнецова



Сдано в набор 24.01.90. Подписано к печати 05.02.90. Л23021. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,62. Уч.-изд. л. 2,34. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 1—100 000 экз.). Заказ 3905.
Цена 2 р. 50 к.

101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8. Совместное советско-западногерманское предприятие «Вся Москва».
Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР. 127018, Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

Цена 2р.50к

